

на глазах равнодушной и жадной до скандала «толпы». Но несмотря на то что герой отвергает то единственное, что могло бы его спасти, Достоевский провидит возможность возрождения и выздоровления больного сознания Ивана Карамазова (15, 89), указывая, однако, что безысходность страданий Ивана может стать причиной его нравственной и физической гибели.

Убеденный, что наказание человека человеком должно существовать вне сложившейся в буржуазном государстве системы социально-правовых отношений, Достоевский паделся, что общество предоставит виновному и преступному возможность возрождения и исправления па основе христиански окрашенных гуманистических заповедей. Принцип «каждый за всех и вся виноват» должен, по мнению Достоевского, восторжествовать в русском суде, который впоследствии станет истинно гуманным и справедливым, т. е. всемерно способствующим восстановлению личности, пережившей состояние нравственного хаоса и обособления. И хотя «беспорядок» настоящего исключал возможность приближения к идеалу, Достоевский верил, что прообразом его является исповедь.

Свое отношение к нравственному состоянию брата Иван высказывает и па суде: «Ну, освободите же изверга... он гимн задел, что потому, что ему легко!» (15, 117). Это обострение ненависти к брату объясняется прежде всего тем, что «слабый» Митя па деле оказался сильнее его, Ивана, и в грехе, и в покаянии. И хотя Иван ошибочно приписывает Дмитрию убийство отца, сам он страдает от мысли о превосходстве брата над ним самим, ведь факт убийства еще раз подтверждает, что Митя совершил то, па что Иван неспособен (см.: 15, 36).

В. А. ЖИКТОРОВИЧ

О ДВУХ ИСТОРИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ЗАМЫСЛАХ ДОСТОЕВСКОГО

1

Изучение незавершенных творческих замыслов Достоевского показывает, что далеко не всегда претитствием к их завершению были внешние обстоятельства. Грандиозные планы писателя подчас претендовали па окончательное решение вопроса и тем самым противоречили специфике его художественного мышления. Поэтому-то Достоевский в ряде случаев «был не готов» и создавал лишь «первую пробу мысли» (22, 7). Это одна из характеристических черт работы Достоевского, другая же состоит в том, что незавершенные замыслы продолжали жить в памяти писателя, включались в новые планы.

Сказанное относится как к художественным, так и к публицистическим замыслам. Среди последних обращает па себя внимание непройный круг тем, замеченный в записных тетрадях периода «Времени» и «Эпохи» (1861—1865 гг.). Этот сравнительно короткий, но напряженный этап биографии Достоевского — своеобразный генератор идей для всего последующего творчества писателя. Мировоззренческий переворот, завершившийся в эти годы, повлек за собою столько новых планов, что только небольшая их часть могла быть реализована сразу же. Однако, вчерне сформулированные, идеи уже существовали и по-своему претворялись затем. Еще не выявлено особое, принципиальное значение некоторых из этих замыслов. Среди них: подготовительные записи, датируемые 1864 г., для исторической статьи о Дмитрии Донском. По объему статья должна быть «вашига», планировал автор, что же касается ее принципиального значения, то в ней «все идеи „Эпохи“ о „почве“ должны быть выражены» (П., I, 357, 354).¹

Предыстория замысла такова. В издаваемом императорской Академией наук «Месяцеслове па 1864 г.» рядом со сведениями статистическими, географическими, метеорологическими и т. п.

¹ В общем плане вопрос об этой статье был поставлен А. С. Долгушиным (см.: П., I, 568—569). См. также: Черепнин Л. В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968, с. 150—151; Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 190 (комментарий Л. Р. Ланского и С. С. Ворцовского); комментарий Т. И. Орнатской и К. А. Кумпан (20, 364—365).

была опубликована статья известного историка Н. И. Костомарова «Куликовская битва». Популярно, с живыми подробностями излагались события 1380 г., приведенные к великой битве, и описывался ход самого сражения. Однако тенденциозность Костомарова в оценке фигуры Дмитрия Донского явилась поводом для развернувшейся затем полемики, на которую так или иначе откликнулись ведущие русские журналы.

Источником Костомарову послужил летописный текст («Сказание о Мамаевом побоище»). Внимание историка привлек эпизод, когда Дмитрий, сражавшийся в одежде простого воина, в самом разгаре битвы, усталый, израненный, плч, как сказано в летописи, «притруден велми изыде с побоища едва в дубраву, и ввиде под повосечено древо многоветвисто и листовенно, и ту скрыл себя лекаще на земле». Костомаров тенденциозно «перевел» это так: «Дмитрий почувствовал на своих доспехах несколько ударов, побежал в лес, запрятался под срубленное дерево и там улетел чуть не без чувств».² Подобная историческая интерпретация образа Донского вызвала возражения М. П. Погодина: «Тон делает музыку, а тон г. Костомарова недопустимо ироничен по отношению к Дмитрию».³ Не согласился Погодин и с утверждением Костомарова, что московский князь взял на себя роль собирателя русских земель, исходя будто бы по преимуществу из своекорыстных интересов, и добился своей цели благодаря хитрости, изворотливости, политическим интригам. За мнимой беспристрастностью Н. И. Костомарова скрывалось искажение русской истории. К началу 60-х гг. Костомаров опубликовал ряд работ («Две русские народности», «Мысли о федеративном начале в Древней Руси» и др.), в которых доказывал, что русская история представляет собою борьбу свободного вечевого и единодержавного начал.⁴ Выразителем первого историк считал «южно-русскую народность». Однако в условиях татаро-монгольского ига возросли авторитет и власть великого князя, и в результате благодаря этому «Русь нашла свое единство, до которого не додумалась в период свободы».⁵

² Мессядеслов на 1864 г. СПб., 1863. Приложения, с. 21. О современных интерпретациях этого эпизода см.: Робинсон А. М. Эволюция героических образов в повестях о Куликовской битве. — В кн.: Куликовская битва в литературе и искусстве. М., 1980, с. 22—25.

³ День, 1864, № 4, с. 13.

⁴ Среди них — в более объективном ключе — книга «Севернорусские народопроявления во времена удельно-вечевого уклада» (1863), которая дважды рецензировалась журналом братьев Достоевских «Время». Автор первой рецензии, Ап. Григорьев, увлекшись декларируемой в книге идеей народа как исторической силы и в не меньшей степени картинностью и живостью изложения, дал почти восторженную оценку (1863, № 1). Редакторы-издатели журнала М. М. и Ф. М. Достоевские напечатали, не дожидаясь обещанного продолжения статьи Ап. Григорьева, другую рецензию (П. В. Знаменского), значительно более критичную (1863, № 4).

⁵ Костомаров Н. И. Собр. соч.: Исторические монографии и исследования. СПб., 1905, кн. 5, т. 12, с. 42.

Буржуазно-либеральная трактовка русской истории привела Костомарова к уничижительным характеристикам многих ее действующих лиц. Правда, замечает современный исследователь, «яркие краски пугилизма <...> заметно блекнут по мере движения костомаровской кисти из глубины веков к современности»⁶ и полностью исчезают, когда речь заходит о правлении дома Романовых.

Полемическая статья Погодина в «Дне» вызвала новое выступление Костомарова, где вопреки очевидности он утверждал, что Дмитрий лично не был героем и даже просто мужественным человеком. Костомаров доказывал это, ссылаясь на бегство князя от Тохтамыша из Москвы через два года после Куликовской битвы. Идеализация Дмитрия как личности, по Костомарову, — застарелый «предраассудок, которым нас наделили с детства».⁷

Достоевский внимательно следил за спором двух историков и за теми противоречивыми отзывами, которые он вызвал в русской прессе.⁸ Достоевский воспринял этот спор не столько в узко-специальном, научном, сколько в более широком общественном и историко-культурном значении. На расширительный смысл задуманной им статьи указывает письмо М. М. Достоевскому от 2 апреля 1864 г.: «Я ведь не историческую статью хочу писать <...> Не беспокойся, я знаю, что сказать и достаточно даже специалист — не в истории, а в развитии наших идей исторических в литературе, во взглядах наших историков (главнейших) <...> тут все идеи „Эпохи“ о „почве“ должны быть выражены» (П., I, 354).

Какие конкретно идеи «почвы» мог иметь в виду Достоевский?

За два года до своего исторического замысла Достоевский, составляя программный документ почвенничества, объявление о журнале «Время», писал о значении и необходимости отрицания, обличения, но при этом предостерегал от крайностей: «Мы в благородном движении вперед отрицали всё сплошь («потому что оно старое», — добавляет писатель в окончательном варианте. — В. В.) и отбросили даже то, без чего нельзя было идти вперед» (19, 216). Задача нового журнала виделась Достоевскому охранительной в смысле охранения исторических и культурных национальных ценностей, и в связи с этим вставала задача борьбы с нигилистическими тенденциями, которые писатель не без основания увидел в «мизерном либерализме» Костомарова. Среди замечек того времени, когда Достоевский готовил свою статью, читаем: «Мы многому научились, что братья на Руси, и иногда брашмее дельно. Но мы совершенно не знаем и не умеем до сих пор, что хвалить на Руси...» (20, 178).

⁶ Астахов В. И. Курс лекций по русской историографии. Харьков, 1965, с. 396.

⁷ Годос, 1864, 1 февр. — Ср. позднейшую оценку полемики в кн.: Костомаров Н. И. Автобиография. М., 1922, с. 355, 364—365.

⁸ См.: Рус. слово, 1864, № 2, с. 89—92; Библиотека для чтения, 1864, № 3, с. 53—54.

Статья должна была быть направленной против костомаровского «разбивания народных кумиров» (выражение самого историка), — об этом ясно говорит и сохранившиеся наброски 1864 г., и позднейшие высказывания на ту же тему. Так, Е. А. Белов в письме Достоевскому (1873 г.) напоминает адресату его резкое выражение: «У Костомарова магия пакостить дорогие русскому народу имена».⁹ К тому времени Н. И. Костомаров предпринял попытки развенчать Минина и Пожарского, повторил свой выпад 1862 г. против исторической роли Сусанина в либеральном «Вестнике Европы». Достоевский, бывший тогда редактором «Гражданина», напечатал (1873, № 47) статью М. П. Погодина «За Сусанина» (ранее в «Гражданине» публиковались антикостомаровские статьи Погодина «За Скопина-Шуйского», «За Пожарского», «За Минина»). Наконец, уже в 1880 г. в письме О. Ф. Миллеру по поводу намечающегося заседания Славянского благотворительного общества в честь пятидесятилетия Куликовской битвы Достоевский предлагает обязательно вспомнить на этом чествовании журнальный эпизод полуторадесятилетней давности: «Какая прекрасная мысль особое торжественное заседание нашего общества на память 500-летия Куликовской битвы <...> Это именно надо теперь. Надо возрождать впечатлительно великих событий в нашем интеллигентном обществе, забывшем и оплевавшем нашу историю <...> Как бы хорошо было упомянуть хоть векользь об „ушедшем спяте“ великом князе (вероятно, от трусости) (намек на статью Костомарова. — В. В.), когда другие бьются. Нужно высоко восстановить этот прекрасный образ и затереть бездушу мерзких идей, пущенных в ход об нашей истории за последние 25 лет» (П., IV, 197).¹⁰

Но встал ли бы Достоевский безоговорочно на сторону Погодина? Вряд ли, по крайней мере одна фраза из его письма брату по поводу будущей статьи: «Я не знаю историю так, как они оба (Костомаров и Погодин. — В. В.), а между прочим мне кажется, что есть что сказать и тому и другому» (П., II, 270) — говорит о большей сложности и объемности его позиции по сравнению с Погодиным.

Несколько слов в связи с этим следует сказать об отношении Достоевского к М. П. Погодину вообще. Оно всегда было осторожным при всех, даже позднейших, во времена «Гражданина», уверениях в близости их политической программы. Эта осторожность кажущегося единомышленника вызвала порой в Погодине враждебное чувство.¹¹ Достоевскому, несомненно, была известна

нашумевшая в свое время оценка Гоголя, близко знавшего Погодина и написавшего о нем в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной...».¹²

При всей субъективно-личной окраске этой характеристики следует все же отметить, что Гоголь уловил смысл взглядов М. П. Погодина, полагавшего, что история как наука должна быть «охранительницей и благодетельницей общественного спокойствия».¹³

Стоит в связи с этим обратить внимание на заметку среди подготовительных записей Достоевского к несуществующей статье о Дмитрии Донском: «Кто слишком крепко стоит за *национальную* цельность России, во что бы то ни стало (курсив мой. — В. В.), тот не верит в силу русского духа» (20, 178). Решетка эта явно и недвусмысленно направлена против официального «подкупного» патриотизма антикостомаровских статей Погодина, где теоретик «официальной народности» писал: «Злоупотребления и насилия в порядке человеческих вещей, были везде...».¹⁴

Достоевский, судя по его общественной позиции в публицистике 60-х годов, не мог принять того умиротворенного тона, который «делал музыку» в выступлениях Погодина. Писатель не мог и не хотел закрывать глаза на то, что «явки и фальши в допетровской Руси — особенно в московский период — было довольно», на то, что в общественных отношениях этого патриархального периода «преобладало притворство, наружное смирение, рабство и т. п.» (20, 12).

Реконструировать точку зрения Достоевского в споре о Дмитрии Донском помогают его «Замечания на статью Семевского о князе Устрялова „Царевич Алексей Петрович“» (1861; также незавершенный замысел Достоевского). Писатель возражает здесь против разоблачительного пафоса Семевского по отношению к Петру I, во многом родственному пафосу Костомарова, и одновременно отказывается подпевать официальным панегирикам в честь царя.

Особая позиция Достоевского в подобной спешке двух крайних мнений имеет свои традиции в русской литературе и историографии. Вслед за Пушкиным (он, кстати, цитируется в «Замечаниях...») Достоевский хочет понять не только величие, но и конкретно-исторические противоречия Петра как человека и государственного деятеля.

Симптоматично то, что имя Пушкина встречается и в подготовительных записях к статье о Дмитрии Донском (кстати, оно фигурировало и в полемике Костомарова и Погодина).¹⁵ Послед-

⁹ Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 342. — Свое мнение о споре Костомарова и Погодина Е. Белов высказал позднее (Гражданин, 1875, № 11, с. 273).

¹⁰ Интересно, что эти слова Достоевского кое-что должны были напомнить и самому О. Ф. Миллеру, который в 1864 г. публично вставал на сторону Костомарова (см.: Библиотека для чтения, 1864, № 3, с. 54).

¹¹ См. переписку М. П. Погодина с Ф. М. Достоевским: Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусству и общественной мысли XIX в. М.; Л., 1936, т. 4, с. 449.

¹² Гоголь П. В. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1952, т. 8, с. 232.

¹³ Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 1846, с. 10.

¹⁴ День, 1864, № 4, с. 21—22.

¹⁵ Отношение А. С. Пушкина к донскому герою ясно из следующих строк его письма П. И. Гнедичу: «Гень Святослава скитается не воспе-

ний цитировал известные пушкинские строки: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман...» и, опираясь на авторитет Пушкина, хотел подчеркнуть свою мысль о приоритете истории как «охранительницы и блюстительницы» власти над историей-наукой. Многое в ответной критике Костомарова, удивившего «полнцейский» смысл статьи Погодина, было справедливо. В том впоследствии его поддерживали В. А. Зайцев и Д. И. Писарев.¹⁶ Но при этом Костомаров осудил и пушкинские строки как «пошляцкие стишонки», ничтожные даже «по верификации».¹⁷

Достоевский, как видно из подготовительных записей к статье, намеревался особенно выделить этот мотив полемики. «Костомарову. Да и время наше есть время опощенных истин. Вы не такой пошляк, как Пушкин, писавший пошляцкие стишонки» (20, 176). Попытки опровержения авторитета великого русского поэта всегда вызывали у Достоевского негодование, будь их авторами Зайцев и Писарев, Костомаров или Катков. Кстати, видимо, не случайно среди рассматриваемых нами заметок появилось и имя последнего: «Не в господине же Каткове совокупилась русская красота» (20, 178). Это лишний раз подтверждает, что литературную и научную полемику Достоевский воспринимает расширительно, с широкой точки зрения развития русской национальной культуры. Для него Костомаров в одном ряду с «пигицетами» «Русского слова», от которых хочет «оживить лавры», но одновременно — и с Катковым, ибо все они — разрушители «русской красоты».

Был ли писатель в споре о Пушкине, поэте и историке, целиком на стороне Погодина?

В четвертом номере «Эпохи» за тот же 1864 г. в «Замечках летописца» напечатана была статья «Пушкина ругают». Как известно, рубрику эту в журнале вел Н. П. Сухов. Однако, как не без оснований предположили Л. Р. Ланской и С. С. Борщевский, в редактировании заметки мог принять участие и редактор — Ф. М. Достоевский.¹⁸ Во всяком случае можно с уверенностью утверждать, что точка зрения, здесь выраженная, Достоевским разделялась.

гаи <...> А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарский? История народа принадлежит Поэту» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937, т. 13, с. 145).

¹⁶ См.: Зайцев В. Перлы и апамагты русской журналистики. — Рус. слово, 1864, № 6; Писарев Д. Прогулка по садам российской словесности. — Там же, 1865, № 3.

¹⁷ В этом Костомарова поддержал О. Ф. Миллер в статье «Русский народный эпос перед судом г. Соловьева»: «... эти стихи и должны представляться такими, какими представлялись они г. Костомарову — пошлыми, и только пошлыми, хотя бы их написал Пушкин» (Библиотека для чтения, 1864, № 3, с. 54).

¹⁸ Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 189.

Ссылка Погодина на пушкинские строки о «возвышающем обмане» в целом одобряется «летописцем», хотя и с еле уловимым оттенком иронии: «... сослался он на них в простоте души».¹⁹ Сам «летописец» в отличие от Костомарова, а равно и Погодина, пытается понять пушкинские строки из стихотворения «Герой» не в их «простоте», однозначно-прямолинейной, а в сложном переплетении истины как «низкого» факта (ее в стихах выражает Друг) и как «высокого» народного предания (его у Пушкина отстает Поэт). Споря с Костомаровым, «Эпоха» тем не менее удерживалась от метафизической прямолинейности Погодина, полностью сводившего Пушкина, автора «Героя», к Поэту. Костомаров, говорит «летописец», по-видимому, не заметил сожаления Пушкина по поводу несоответствия правды факта и правды предания, «он, кажется, полагает самым пошлым образом, что Пушкин предпочитает обман истине».²⁰ Прямо нападая на Костомарова, «летописец» косвенно целит здесь и в «простоту» Погодина. Эта двойная направленность заметки «Пушкина ругают» еще раз свидетельствует об особой позиции, которую занял журнал братьев Достоевских в рассмотренном нами споре двух историков.

Открывается теперь и смысл цитированной выше фразы из письма к брату, где Достоевский обещает коснуться в своей статье «взглядов наших историков (главнейших)». В числе их, видимо, должен был фигурировать не только Карамзин, которого спорящие тянули каждый в свою сторону, но и Пушкин — образец диалектического подхода к сложным вопросам русской истории.

Как мог бы Достоевский интерпретировать характер Дмитрия Донского? Здесь мы вступаем в область предположений, руководствуясь набросками к статье, а также теми материалами, которые были опубликованы в журнале братьев Достоевских.

Ф. М. Достоевский согласился с братом, что первое выступление журнала следует поручить Д. В. Аверкиеву, а собственная его статья продолжит начатый разговор. Статья Д. В. Аверкиева «Г-н Костомаров разбирает народные кумиры» была напечатана в третьем номере журнала за 1864 г. Продолжения, написанного Ф. М. Достоевским, как мы уже знаем, не последовало. Poleмику с Костомаровым продолжил сам же Аверкиев.

Д. В. Аверкиев (1836—1905) пришел в редакцию «Эпохи» в первый год ее издания молодым человеком, возможно, еще не освободившимся от того качества, о котором семь лет назад писал близко знавший его Н. А. Добролюбов: «... по молодости пусто-ваг; подвигнен оттого, что ни на чем еще порядком не установился».²¹ Решающее влияние на нового сотрудника оказал Достоевский. «Некоторые из тамошних статей («Эпохи». — В. В.), обо-

¹⁹ Эпоха, 1864, № 4, с. 383.

²⁰ Там же, с. 386.

²¹ Добролюбов Н. А. Собр. соч. М.; Л., 1964, т. 9, с. 249.

значенных моим именем, — впоследствии признавался Аверкиев, — были написаны при ближайшем сотрудничестве Достоевского <...> то, конечно, был самый талантливый, самый влиятельный и любимый мой учитель».²² Видя в это время в Аверкиеве своего единомышленника, Достоевский и впоследствии даже переоценил его литературный талант, приписав ему во многом собственное писательское качество — объективность в изображении героев (П., II, 187—188). Был ли Аверкиев в вопросе о Дмитрии Дюпском своеобразным «отражением» Достоевского или выразителем коллективного внутриредакционного мнения (многие взгляды Достоевского, писал впоследствии Аверкиев, «были общим убеждением кружка <...> вырабатывались дружными усилиями всех его членов») ²³ — в любом случае статья Аверкиева в принципе совпадала с точкой зрения Достоевского. Возможно, что это и было одной из причин, почему писатель не довел до конца своего замысла: журнал уже высказал свою позицию, и острая необходимость в его статье отпала.

В цитированном выше письме к брату Достоевский предупреждал, чтоб Аверкиев «собственно о Костомарове писал, а не о споре его с Погодиным». Однако тот написал именно «о споре», и досталось здесь не только Костомарову, но — пусть в смягченной форме — и Погодину. Так что Аверкиев занял ту же неоднозначную позицию, которую, как нам представляется, предполагал отстаивать и Достоевский.

Логика автора статьи «Г-н Костомаров разбивает народные кумиры» видна из следующего хода суждений. Преследовал ли Дмитрий Дюпский только личную корысть в куликовских делах, как то утверждает Костомаров? Цепь поступков князя, взятая в целом, противоречит этому утверждению.

Автор «Эпохи» предлагал искать истину лишь в «совокупности фактов», а не в отдельных эпизодах, вырванных из контекста судьбы героя и из контекста русской истории. И под верховною властью Орды великий московский князь — вопреки Костомарову — мог бы угодить ижажду власти и корыстолюбия: аккуратно платить «выход» своим повровителям, а дальше поступать вполне самовластно и возмещать утраченное на спинах своих соотечественников. Однако Дмитрий избрал не этот куда более легкий путь, а прямо противоположный. Он обращается к русским князьям с призывом объединиться против Орды как *общего* врага. «Какая простота, какая твердость», — восклицал Аверкиев по поводу речи Дмитрия, обращенной к войску: «Лето нам, братья, положить головы за православную веру... да не будем рассеяны

по лицу земли». Костомаров, в свою очередь, называл эту речь Дмитрия «хвастливой».

Еще одна психологическая деталь, которую Костомаров упомянул, но также не смог истолковать, исходя из «совокупности фактов»: проходя войском через земли враждебного Рязанского княжества, Дмитрий пресекает мелкие попытки грабителей, вполне привычных для тогдашних военных действий. Этим необычным приказом московский князь давал понять Олегу Рязанскому, идущему на соединение с Мамаем: мы своих, русских, не трогаем и против русских воевать не собираемся. У нас другой, общий враг. Не благодаря ли этому *осознанному*, продуманному шагу Дмитрия в будущей великой битве наконец-то не стал брат на брата?

Достоевскому, видимо, важна также была психологическая *последовательность* поступков Дмитрия, говорил об осмысленной, осознанной цели предпринимаемого тяжелого дела, важно было увидеть, как в кровавой исторической ситуации, решавшей судьбу нации, на трагическом изломе складывался русский национальный характер, основное требование которого заключалось не в разрозненности корыстных интересов, а в слиянии частных побуждений в одно общее патриотическое чувство. Эта мысль — одна из главных для братьев Достоевских; поэтому, видимо, к своему историческому замыслу писатель отнесился с особым воодушевлением (напомню: «...все идеи „Эпохи“ о „почве“ должны быть выражены»). В программном объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 г. Достоевский называл одно историческое событие после петровских реформ, где «народ заявил себя», «одна только случай соединения двенадцатый год» (18, 36). В аналогичном ключе трактовался теперь «Эпохой» 1880 год. Позднее, в «Дневнике писателя» 1876 г., еще раз обращаясь к этому важнейшему рубежу в жизни нации, автор формулирует мысль, сложившуюся у него в 60-х гг.: в борьбе с нашествием русские люди «создавали царство и сознательно создали его единство» (22, 114).

Таким образом, ничуть не оправдывая княжеского деспотизма, темных сторон московского феодального периода русской истории, Достоевский стремился увидеть и те ситуации, в которых московский князь защищал общенациональные интересы. Писатель не избегал при этом другой крайности: он «перенесил» подобную ситуацию в современность, — события Куликовской битвы или 1812 года питали его иллюзии о возможности примирения самодержавной власти с народом в настоящем и будущем. В этом — утопизм, панacea ограниченность Достоевского-публициста. Но следует оценить и прогрессивное начало диалектики, вписанное им в спор «на два фронта»: с отрицанием общенациональных ценностей русской истории и с официальным патриотизмом.

Сильные стороны историзма писателя проявляли себя в еще в одном из пунктов полемики. Достоевский не собирался идеализировать Дмитрия, обелять его во всем и во что бы то ни стало,

²² Аверкиев Д. В. Дневник писателя. 1885 год, вып. 1. СПб., 1885, с. 3—4 (об Аверкиеве как сотрудничестве журнала Достоевских см.: *Нечасова В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», 1864—1865. М., 1975, с. 33—36).

²³ Там же, с. 2.

как М. П. Погодин: «... кто боится Тохтамыша, а кто боится потерять популярность „Искры“ и у Абличительного поэта» (20, 176) — эта ироническая фраза, заготовленная против Костомарова и намечающаяся на заискивание его перед демократическим лагерем, не отводит упреков по адресу Дмитрия, но переводит разговор в другую плоскость: кто полагает, что сам он без греха, пусть бросит камень в историческое лицо. Характерный для писателя ход мысли, повторенный им при подготовке Некрасовского выпуска «Дневника писателя»: «Но мы имеем ли право быть такими судьями? <...> Он не прав — это позывлемо. Но и мы-то святые ли?» (26, 200). С помощью этого своеобразного аргумента ad hominem Достоевский и в 1864 г., и в 1877 г. призывает не судить историческое лицо, исходя из одних лишь абсолютных критериев морали, но учитывать реальные условия места и времени.²⁴

В упоминавшейся статье Д. В. Авергиева «Г-н Костомаров разбивает народные кумиры» и в его же драме «Мамаевы побойцы» (Эпоха, 1864, № 10) этот постоянный сотрудник журнала значительность личности Дмитрия Донского выводит из уяснения им задач общенациональных («где нужны Леопольды, а где Дмитрий»). Мысль о значении в истории личности, сумевшей проникнуться общими народными интересами, и была близка Достоевскому, которого в эти годы занимал вопрос, каким должен быть новый «русский деятель». Трактую в 1862 г. личность Петра I (20, 14—15), а в 1869 г. — Ермака (II, II, 193), Достоевский приходит к близкому выводу: «русский деятель» должен «угадывать» общенародную потребность, — только тогда его деятельность принесет полезные плоды. Писатель-реалист понимает постепенность и сложность этого исторического процесса. Поэтому и предлагает судить характер исторического лица в движении, в процессе осознания им своего назначения. Такой, по всей видимости, была и точка зрения Достоевского на личность и историческую роль Дмитрия Донского.

В «Дневнике писателя» 1880 г., вновь обращаясь к переломному моменту русской истории XIV в., Достоевский повторяет ту оценку событий, к которой он пришел в 1864 г.: «после нашествия Батыева» «единственно всеединящим духом народным была спасена Россия» (26, 132). «Единственно», потому что не внешние условия (татаро-монгольское иго или княжеский деспотизм) сыграли (так полагал Костомаров) решающую роль в объединении Руси, но закономерный внутренний процесс национальной консолидации. В этом историческом движении Дмитрий Донской сумел стать полномочным представителем «всеединящего духа

²⁴ Оригинальное объяснение поведения Дмитрия во время нашествия Тохтамыша давал Д. В. Авергиев: «Он рассудил как истый вук Калиты: не удалось против Тохтамыша, удастся против Олега»; «Он о земле своей радел, а не о том, чтобы прослыть отважным храбрцом» (Эпоха, 1864, № 3, с. 296).

народного», а впоследствии, в народной памяти, и его патристическим, легендарным символом. Ученый, не чувствующий этой внутренней закономерности национальной истории, превозносящий самоценность изолированного эмпирического факта, по Достоевскому, не историк, не ученый. « $2 \times 2 = 4$ — не наука, а факт. Открыть, отыскать все факты — не наука, а работа над фактами есть наука» (20, 177), — так в заостренной форме Достоевский намеревался ответить Н. И. Костомарову. Из этой аналитической и обобщающей функции истории вырастает, по Достоевскому, ее воспитательное, патристическое значение. Анализировать факты русской истории — значит постигать рост национального самосознания, а следовательно, и воспитывать, обогащать духовный опыт новых поколений.

«Всякому обществу, чтобы держаться и жить, надо кого-нибудь и что-нибудь уважать непременно...» (23, 152—153). В последние годы жизни на часто задаваемый ему вопрос «что читать детям?» автор «Дневника писателя» не устает отвечать: исторические сочинения. В письме Н. Л. Озмидову (1880 г.) писатель вспоминает свое детское чтение Вальтера Скотта, «высокое впечатление» от которого составило в душе «большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными <...> и растлевающим». Рекомендую читать труды историков, Достоевский особо оговаривает: «Костомарова пока не давайте» (II, IV, 196). «Пока» не оформилась, не сложилась слабая еще духовная натура юного читателя — так, видимо, следует понимать оговорку Достоевского. Пройдет время, и духовно окрепший читатель сам разберется, где подлинная правда, а где «соблазнительное и растлевающее» правдоподобие.

Историческая память, по Достоевскому, нравственно формирует личность и отдельного человека, и целой нации. К этой мысли писатель возвращается, набрасывая пушкинскую речь. Здесь слышны отголоски давнего спора об исторической «фактология»: «Если б умер кто, на Куликовом поле, право было бы приятно <...> Пушкину именно разумел доблесть, доблестных предков — не давить хотел он аристократическим происхождением <...> Пушкин — факт» (26, 209, 211). Историческая память созидательна; поэтому, мечтал писатель, история России, поэтически осмысленная, должна стать «великою национальной книгой и послужить к возрождению самосознания Русского человека» (II, II, 193).

* * *

Одно методологическое примечание. Колебания, разрушение абсолютных нередко выводили на себя и противников, и союзников писателя.²⁵ Для него истина не посередине, она в диалектическом

²⁵ Михайловский П. К. Полн. собр. соч. СПб., 1909, т. 4, с. 922. — Любопытно в этом плане реакция Н. И. Костомарова на пушкинскую речь Достоевского: «... его идеал — в тумане <...> сквозь который он представ-

снятии противоположностей путем познания *движущейся* исторической действительности. Достоевский создает адекватную своему миросозерцанию форму публицистики не столько доказывающей, силлогистичной, сколько интуитивной, гносеологичной. Стилистая доминанта его публицистического слова — процесс познания истины. А потому приемлемы в своей метафизической абсолютизации ни апологетический, ни разоблачительный подход к публицистическому наследию писателя.

2

На протяжении 1863—1865 гг. Ф. М. Достоевский неоднократно обращался к замыслу статьи о «нигилистических романах». Статья так и не была написана, сохранились лишь разрозненные заготовки для нее в записных книжках 1864—1865 гг. Восстановить, хотя бы предположительно, ход мысли писателя особенно важно, если учитывать, что именно на эти годы падает основная часть работы Достоевского над «Преступлением и наказанием». Осмысление опыта «нигилистического романа» 60-х гг. и отталкивание от него входят в творческую историю книги о Раскольнике.

Источники замысла можно отнести еще к началу 1862 г., когда состоялся известный диалог в письмах между Достоевским и Тургеневым по поводу «Отцов и детей». В ответ на письмо Достоевского (не сохранившееся) автор романа признался: «Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумления — и удовольствия. Точно Вы в душу мне вошли и почувствовали даже то, что я не след нужным вымолвить».²⁶ Достоевский, по мнению Тургенева, единственный, кроме Боткина, кто понял, что в Базарове автор «попытался (...) представить трагическое лицо», а не карикатуру.²⁷

Три с половиной года отделяют письмо Достоевского к Тургеневу от известного его же письма к Каткову о замысле повести — «отчета одного преступления» в сентябре 1865 г.²⁸ Естественно предположить, что мысли Достоевского, высказанные Тургеневу²⁹ и столь поразившие последнего, в указанный период

является наблюдающим глазами в различных образах, и чаще всего в таких, каких на самом деле он не имеет. Мне кажется, этих господ не понимают, но впадают они сами, потому что все, что они нам показывают, дают нам видеть не иначе, как сквозь дымку тумана, искажающего правильное очертание видимых образов» (Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 522).

²⁶ Тургенев В. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Письма. М.; Л., 1962, т. 4, с. 358.

²⁷ Там же, с. 385.

²⁸ Заметим к слову, что Достоевский обращается в тот самый журнал, где были напечатаны «Отцы и дети». Это обстоятельство заставляет несколько другими глазами посмотреть на данную в письме характеристику будущего героя-нигилиста.

²⁹ Попытки реконструировать суждение Достоевского о Базарове предпринимались в следующих работах: Фридендер Г. М. К спорам об «Отцах

и детьми». — Рус. лет., 1959, № 2; Манн Ю. Базаров и другие. — Новый мир, 1968, № 10; Тюнькин К. И. Базаров глазами Достоевского. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1974; Будагова Н. Ф. Проблема «отцов» и «детей» в романе «Бесы». — В кн.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974, т. 1.

не только не забылись, но продолжали зреть и углубляться. Так, в февральском выпуске «Времени» 1863 г. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» упоминает «беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм» (5, 59).³⁰

В 1863 г. вышли еще два крупных романа о «новых людях» — «Что делать?» Н. Г. Чернышевского и «Взбаламученное море» А. Ф. Писемского. Для первого номера нового журнала «Эпоха» Ф. М. Достоевский обещает брату статью принципиального характера: «Разбор Чернышевского и Писемского произвел бы большой эффект и, главное, подходил бы к делу. Две противоположные идеи и обем по носу. Значит, правда» (П., I, 341; письмо от 19 ноября 1863 г.). Что в задуманной статье могло «произвести эффект»? Видимо, принцип «обем по носу» — характерная для Достоевского-публициста и вообще для почвенничества борьба на два фронта. Почему статья не была написана? Кроме прочих причин — занятость, осложнившиеся семейные обстоятельства, удаленность от журнала и т. д. — есть еще одна, для Достоевского-журналиста немаловажная: его опередили. В «Отечественных записках» (1863, № 11—12) печатается большая анонимная статья, в которой сталкиваются оба романа и оба признаются односторонним отражением такого общественного явления, как «новые люди» 60-х гг. «Эффекта» уже не получалось.

Видимо, в это же время Достоевскому приходит мысль перевести полемику из сферы публицистической в художественную. В первом сдвоенном номере «Эпохи» за 1864 г. была напечатана первая часть «Записок из подполья». Основная работа над ней пришлось на январь—февраль 1864 г., т. е. непосредственно на период, последовавший за работой над статьей о Чернышевском и Писемском. Это была по столько прямая публицистическая атака на «хрустальные дворцы», сколько спор по главному вопросу искусства — о понимании человека. Концепция рационального, ясного характера Достоевский противопоставляет концепцию иррационально-противоречивой личности, «беспокойной» и «тоскующей».

Достоевскому суждено было еще раз вернуться к замыслу статьи о романах про «новых людей», когда в 1864 г. выходят «Марево» В. П. Ключникова, «Нокуда» Н. С. Лескова и «Мудреное дело» Д. Н. Ахшарумова. Сохранились разрозненные записки этого этапа работы над статьей, которые делают возможной реконструкцию замысла Достоевского. Отметим примечатель-

ной реконструкцию замысла Достоевского. Отметим примечатель-

ную реконструкцию замысла Достоевского. Отметим примечатель-

ную черту в словоупотреблении писателя: в этих записях он пользуется выражением «нигилистические романы», одинаково относя его и к антинигилистическим произведениям, и к демократической беллетристике. В глазах Достоевского эти два направления разрабатывают некий общий (в художественном плане) жанр, тип сюжета и героя. Задумываясь в это же время над собственным «нигилистическим романом», писатель не мог не сравнивать. Следы такого сравнения мы находим в записях 1864—1865 гг.

Достоевский выделяет некий уже оформившийся сюжетный стереотип: «№. Нигилистический роман. Его концепция — всегда одно и то же: муж с рогами, жена развратничает и потом опять возвращается. Дальше и больше этого они ничему не могли изобрести» (20, 202). Здесь в подтексте — требование новой «концепции», которая пошла бы «дальше» и отразила не отдельные черты и взгляды нигилистов, например, на семью (этот мотив в «Преступлении и наказании» будет выведен на периферию романа в пародийные разглагольствования Лебезятникова),³¹ а в целом раскрыла бы философию и психологию нигилизма как значительного явления русской пореформенной действительности.

Отсутствие таковой «концепции», бытовая поверхностность сюжета именно в это время отмечается Достоевским у одного из антинигилистических писателей: «Весь реализм Писемского сводится на знание, куда какую просьбу нужно подать» (20, 203), а далее — явно об уязвимости позиции автора «Взбаламученного моря»: «Сила не нуждается в ругательствах» (20, 203). Последняя запись обычно трактуется как заготовка для полемики с «Современником» (см.: 20, 391), однако, учитывая двойную направленность идейной борьбы Достоевского-публициста и то, что запись непосредственно следует за репликой о Писемском, можно отнести ее и к последнему. Та же обоюдоострая критика — равно как в адрес Чернышевского, так и в адрес Писемского — просматривается и в записи: «ваши романисты выдумали только разврат в браке» (20, 203). Обратим внимание на характерные «словечки» в двух приведенных записях: «романисты выдумали только...» и «больше этого не могли изобрести». По-видимому, речь идет о «выдумывании» и «изобретении» сюжета, достойно и глубоко отражающего такое сложное общественное явление, как нигилизм.

Достоевский пытается понять, в чем же «ошибка» его идейных противников, к которым он испытывает не ненависть, а сочувствие и страстное желание помочь найти истину (а для этого необходимо найти ее самому). С этой сверхзадачей и обращается Достоевский к анализу типических сюжетных коллизий «нигилистических романов».

³¹ Отмеченный Достоевским сюжетный мотив «нигилистического романа» («жена развратничает и потом опять возвращается») пойдет и в «Бесы», и вновь на правах второстепенного (история жены Шатова).

Такова одна из записей: «Да чего ж он по суздуся-то к пей (к Лилиньке). Ведь он бы жил. Да что в том, что он бы жил; она бы жила на его руках, и он бы чувствовал, что она бы жила (хотят счастья только себе). Расходятся из эгоизма направления, в безмолвном и гордом страданье. Бессмысленные романтики — да им всех хочется, так и прите за всех на крест, а то счастье».

Что останется после их счастья? Есть, жиреть и в карты играть. Китайский уклад. О бессмыслица!

Да бедны мы. Э—эх!

«...» Немеский это расчет, а не гуманный. Да даже и расчет на их стороне. Ведь работает же Лилинька, работает же и он, — ну, работайте вместе» (20, 195).

Характерная интонация этой записи выдает человека, страстно желающего открыть глаза заблудшим, потерявшим первоначальную истинную цель («им всех хочется») и подменившим ее, по заметив того, на противоположные ценности («Есть, жиреть и в карты играть. Китайский уклад»). Т. И. Орнатова установила, что речь здесь идет о рассказе А. В. Корвин-Груковской «Сон» (см.: наст. том, с. 238—240). Но ситуация, которую критикует Достоевский, совпадает и с типовым поворотом сюжета в ряде «нигилистических романов», когда любовь приписывается в жертву узко понятому убеждению. Это финал и противопоставленный Лизы и Райнера в «Некуда», и отношений Иппы и Русанова в «Марене»; похожая ситуация есть и в «Мудреном деле», везде герои «расходятся из эгоизма направления, в безмолвном и гордом страданье». Через страничку, переходя к анализу сюжета «Мудреного дела», Достоевский развивает свою мысль: «— Не хочу жить на твой счет, — говорит героиня герою. Все они боятся этого как чумы. Это безнравственно. Это — делиться, начала разделения, это — хлопотать о своей ювелирской вещице — личности. Еще правило — единственность сюжета нигилистических романов».

Еще что

Тут нигилисты противуречат себе, тут они мещане и собственники.

№. Из этого статья: Нигилистические романы» (20, 196).

Запись «Тут нигилисты противуречат себе, тут они мещане и собственники» — более поздняя вставка, она соотносит критику «нигилистических романов» с ведущейся в это время полемикой «Эпохи» с новой редакцией «Современника», во многом отошедшей от традиций Чернышевского и Добролюбова, сотрудников которой — Антоновича, Пышина и др. — Достоевский называл «мещанами социализма». Сравнивая новую и старую редакции, Достоевский в своих статьях поставил вопрос о перерождении идеалов «Современника». Так, упрекая противников в бесцеремонности, грубости полемических приемов (когда полемику берет в свои руки Антонович), писатель констатировал: если раньше «Современник» такого не позволял, значит «он изменил свое на-

правленис» (20, 118). Публикуя грубую, полную непристойных личных намеков статью Антоновича против «стрижей» (Современник, 1864, № 7), редакция сделала оговорку, что не разделяет бесцеремонных полемических приемов автора, но печатает статью, так как цель ее «действительно стоит того, чтобы для ее достижения употребить даже те неодобрительные средства, которые употребил автор». Достоевский проинизировал: «Цель оправдывает средства» — правило старинное, всем известное и вдобавок западническое» (20, 125). Намек раскрывается, если мы обратимся к записным книжкам Достоевского, где автор прямо пишет об опасности для всего человечества «привнесения в революцию иезуитизма» (20, 190).

Журнальная полемика по вопросу о целях и средствах также входит в генезис «Преступления и наказания», особенно если иметь в виду тему искажения первоначальных убеждений героя, превращения их в свою противоположность.

Обращаясь к идейным оппонентам, автор хочет показать: вот к чему вы можете прийти, если отбросите нравственное обоснование своих идей. Но обязательно ли «социалисты» должны прийти к «раскольническому» варианту? П. И. Страхов отвечал на этот вопрос вполне утвердительно;³² позиция Достоевского была сложнее, он не переставал верить в нравственные начала молодого поколения, которые окажутся спасительными.

Точка зрения Достоевского в задуманной им статье должна была, как нам представляется, сводиться к идее *переходности* типа нигилиста в русской истории. В ряде заметок проводится даже мысль о неизбежности, пусть болезненной, этого перехода. Так, в записи «В полемике» Достоевский делает ценное для нас признание: «... Мы ведь этому, хоть бы нигилистскому или естественно-научному направлению даже рады. Оно придает некоторую смелость мысли <...>. Но не беспокойтесь, всё это, *перейдя* через эту некоторую смелость мысли, *придет* на почву и к народным началам. Да и единственный ведь это *путь*. Нигилисты, стало быть, отстали. *Ничего, догонят*» (20, 176; курсив наш. — В. В.).

Тип нигилиста под пером Достоевского обретает черты психологической сложности, в этом он как бы возвращает «нигилистические романы» к опыту Тургенева (имя последнего фигурирует и в записных книжках: Достоевский защищает его от плоской критики Антоновича — 20, 199), к типу «беспокойного» и «тоскующего» героя. Любопытно, что такую же эволюцию претерпел впоследствии и Писемский — от «Взбаламученного моря» к роману «В водовороте». Обращаясь к Раскольникову, каким он предстает с точки зрения рассмотренного нами генезиса романа,

следует сказать, что вряд ли в этом герое действовал «механизм самообмана», скорее — перерождения. Если даже не было у Раскольникова высоких целей спасти человечество (в чем мы также сомневаемся), то наверняка были высокие побуждения, неравнодушные и обостренное чувство несправедливости, чужих страданий. В Раскольникове типизирована определяющая черта молодого поколения «шестидесятников» — увлеченность, страдание от чужой боли, сочувливость. Трагедия героя в том, что высокие нравственные побуждения *переходят* в свою противоположность. Этот сложный социально-психологический феномен, проанализированный в романе, писатель позднее довольно четко сформулировал: «сознание своего совершенного бессилия помочь или припести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном вашем убеждении в этом страдании человечества, может даже *обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему*» (24, 49).

Нафос творчества Достоевского, как он складывался в первой половине 60-х гг., заключался прежде всего в стремлении понять и с философских, социально-психологических позиций осмыслить явление нигилизма как трагического и переходного *состояния* всего общества, в целом современной буржуазной цивилизации (ср. позднейшее «мы все нигилисты»).³³ Глубокое убеждение, что это состояние должно в конечном счете разрешиться на путях сближения с народом и что этот путь «единственный», делает Достоевского весьма далеким от ортодоксального антинигилизма.

³³ Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 674.

³² Анализ взаимоотношений Страхова с Достоевским периода «Эпохи», в частности их трактовки «нигилистических романов», был посвящен наш доклад на VII чтении «Достоевский и мировая культура» (Ленинград, 1982).